# Василий Киляков

*Василий Киляков – родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал дежурным электриком, мастером на заводе (почтовый ящик) в городе Электросталь, служил в армии (Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище), фельдъегерем по спецпоручениям Главного центра спецсвязи (Москва), затем – начальник отдела Главного центра спецсвязи, личная охрана, Росгвардия. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1996 году (мастерская М. П. Лобанова). Публиковался в журналах: «Берега», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Новый мир», «День и ночь», «Литературная учёба», «Подъём» и др. Лауреат Всероссийских литературных премий: «Традиция» (1996), им. Б. Н. Полевого (1996), премий «Умное сердце» (2010), «Дойче Велле» (Берлин, 1992) и др. Обладатель «Бронзового Витязя» (2019) Международного славянской литературного форума «Золотой Витязь». Лауреат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского совета РПЦ (2019). Член Союза писателей России с 1996 года. Живёт в городе Электросталь Московской области.*

## «СВЕТЛЫЕ ДАЛИ» ЕВСЕИЧА

*Повесть*

*Завершение. Начало в № 4-2023*

…С пологой горы сползал «пазик», блестя лобовыми стёклами, за ним серым нескончаемым шлейфом поднималась пыль. Надсадно изнывал мотор, колёса утопали в глубоких колеях, разъезженных тракторами. Солнце пряталось за островерхие высокие ели, и было ещё жарко и душно даже в этой низине. Высокие травы и подсолнухи – всё никло и жухло. Томившиеся ожиданием и бабы и ребятишки устремились к автобусу, запущенному, грязному, который, как печь, нёс тот же жар и пахнул бензином так, точно бак его был худой и протекал.

Кошёлки, вёдра, сумки – словно на базаре выстроили на полу «пазика». На своё место, к продранным сиденьям с провалившимися пружинами, Юра лез, наступая на ноги сидевших. Шофёр в грязной, засаленной спецовке с равнодушным сонным лицом молча собрал деньги в потёртую облезлую сумку из дерматина, развернул автобус и покатил в сторону Заозёрья. Он объезжал глубокие колеи с жёлтой водой и вдруг так врубил шансон по приёмнику, что Юра не выдержал и, протягивая деньги за поезд, попросил:

– Шеф, выключи, что-то непруха сегодня на такие песни.

Водитель, с любопытством глядя на него в салонное зеркало, ответил, не поворачивая головы:

– Ты не здешний? Это же «Лесоповал», Миша Танич.

– Да мне хоть Танич, хоть Круг, хоть Звездин-Северный. Слышь, потуши конфорку. Прошу. Пожалуйста.

– А вообще, уважаю, – сказал шеф всё так же не поворачивая головы. – Вежливо просишь, всё такое. А чего не любишь блатняк?

– Не люблю. Ложь сплошная.

– А в чём?

– Во всём. Мать-отца любим, молимся на них, а из зоны в зону шныряем, и родители на грязных простынях умирают… Все вокруг сволочи, посадили ни за что, и всё прочее…

– А-а, понял… это вроде как «Калина красная», так, что ли?

– Да при чём тут «Калина»? Да вот, хоть Танич этот до самого конца кричал, «я политический». А на деле пять лет лагерей за пьяную драку в порту, ведь это скрывают. «Русский радиоприёмник

поругал, а немецкий похвалил, и сразу посадили» – это официальная версия Танича, для дураков. А папа у него, у этого яростного борца с режимом, знаешь, кто был?

– Кто?

– Исак Танхилевич, заместитель начальника мариупольской ЧК.

– Да ты чё, парень, ты откуда, с Луны, что ли, свалился? Да в самой Москве в Кремлёвском зале шансон слушают – полные залы. Полковники, генералы… А подтанцовка-то какая… – это просто балет, ты хоть видел? С блатными прикидами, в лепеньках тузовых.

– Видел, – ответил Юра угрюмо. – Что да, то да. И полковники в зале, и генералы МВД. И переодетые в офицерское подпевают блатному солисту, бородатому, небритому, и не зазорно…

– Точно, сидишь и думаешь: почему все они по эту сторону колючки, а не по т**у**? – Шофёр с интересом стал бросать быстрые взгляды на Юру, засмеялся в профиль за баранкой, показывая рондолевый, под золото, оскал зубов.

В автобусе стало трудно дышать, и пьяные мужики совсем очумели. Ходили курить и мочиться к задним дверям.

– Вы бы хоть детей посовестились, – укоряли их бабы.

Тот, что был моложе, с волосами грязными, ниспадавшими до плеч, вдруг запел:

Издалёка, с Колымского края
Шлю тебе я, Маруся, привет,
Как живёшь ты, моя дорогая,
Напиши поскорее ответ.

Мужик постарше вдруг соскочил с сиденья, хватаясь руками за перекладины, наступая кирзовыми сапогами на ноги соседям, стал подниматься, кренясь, вытягиваться, но повалился на старух и ребятишек, между тем голос молодого набирал силу, он завозился, вставая, и тоже запел, поддерживая первого. Нездешней тоской стушевалось его лицо, челюсть отвалилась, жилы на висках набрякли, желваки заходили под кожей щёк, продублённых чифирём до смуглости:

Вы гуляйте, дешёвки, на воле,
Приходите вы к нам в лагеря, –
Вам на воле цена три копейки,
В лагерях вам дадут три рубля…

– Господи, – взмолилась старушонка, крепко сжимая ведёрко с лисичками и маслятами, припорошенными сверху листьями дикой смородины, душицы. – Господи, хоть бы ноне добраться до дому без греха…

Всё на старушке было чисто, ладно, домовито: и чёрный платок в белую горошину, прилаженный острым коньком на голове, и юбка, натянутая на коленях.

– Ну и время пришло: по лесу скитаюсь, индо в раю, ни зверя лесного, ни лешего, ни василиска – никого не боюсь. А как в автобус – за нож вострый! А всё за грехи наши, за безделье, за слова нечистые… Ишь, ведь, вовсе не стоит, да ещё горлом давит, поно́сит. – И она быстро-быстро закрестилась часто и мелко: – Мать – Царица Небесная, спаси и сохрани. Оборонѝ!

…Вы на воле обос…ы, грязны,
Вместо юбок носили мешки…
С алкоголиком спали в навозе, –
Вы не девки, а стерво-куски…

– Оп-па, асса! Половина колбаса, остальное яйцы! – заорал двухмесячный дед, хлопая в ладоши, выпуская поручень вверху и валясь на пассажиров.

Юра, всё ещё не оправившийся от ссоры с этими головорезами, стоял в тесноте возле выхода спиной к спине с какой-то грузной женщиной. Грудь его давила никелированная стойка, дыхание спирало. И глядя на этот разгул пьяных, он внутренне удерживал себя, уговаривал не связываться с ними. Заточку, финку или шабер блатные никогда не показывали. Это для зэка «западло». «Предупреждать – дело ментов», – просто ткнут в бок, под ребро, а чаще в спину, и всё, «ваши не пляшут».

– Говорят, что в Финляндии в таких случаях останавливают автобус и пьяных высаживают среди дороги… – нарочно громко, рассчитывая на поддержку, заговорила женщина неизвестно для кого. – А как в других цивилизованных странах?

– Что ты гонишь порожняк в натуре?.. Ты хавальник закрой, а то!..

…В стенку, отделяющую шофёра от кабины, заколотили ногами. Шофёр остановил автобус, вошёл в салон. Протолкавшись к зэкам, он ровным невозмутимым голосом проговорил что-то на фене. И заключил:

– Не прекратите ор – высажу. Вылетите как голуби, понятно? До Байдана базар держать не буду, я за баранкой. Баланду травить тёщам будете. А мне восьмерить и втирать нечего… – Он сказал громко и без волнения в тишине замершего салона какое-то вовсе непонятное слово, – если только можно назвать салоном вдоль и поперёк искромсанное чрево «пазика».

– Но всё, всё, шеф… Ув-важуха, шеф, ты мне, я тебе, и разбежались. Запара пришла. Кумар накрыл ребят, понимаешь, не слепой, – забормотал пожилой, обращаясь уже не к шоферу, а к своей ватаге, ероша серую щетину на бороде…

И этот внезапный тон, ровный и невозмутимый тон сильного и справедливого, остановил пьяных. Они смолкли, ладком уселись и разом задремали.

Автобус из речного распадка, теряя скорость, вкатился на вершину пологого холма. В пыльных окнах показалась колокольня без креста и обшивки на куполе. Чернели глазницы узких окон, тучи ворон вились над церковкой. Вытоптанный, выбитый скотиной выгон был пуст и гол. Валялись возле дороги старые сапоги, калоши и сгнившие в прах какие-то лохмотья, гнутая арматура, обрывки буксирного троса. Замелькали деревца, и за ними медленно прошли дома с жестяными крышами, сиренью, утлой рябиной в палисадниках, с колодцами во дворах.

Автобус остановился перед магазином. Как и по всей России, – здесь стояли за гречкой и за сахаром для самогона, который вот-вот должны были подвезти: и женщины, и старухи. Перед дверью ругались и для порядка записывали-выводили и выкликали номера на руках.

Вывалившие из автобуса помятые пассажиры тотчас один за другим стали пристраиваться к этой очереди. Пьяные мужики мучительно долго продирали глаза и выбирались. Обнявшись, двинулись они к дверям магазина.

Юра Хломин помог аккуратной старушке выйти из автобуса, вытащил ведёрко и поставил на траву, закиданную мелкими окурками. На удивление, разговорчивая старушка спросила:

– Ты чей же будешь, сынок? Что-то не угадаю тебя…

Юра спросил, как пройти на улицу Луговую.

– Да ты к кому? – всё пытала бабка.

Юра стал было рассказывать, живописуя лицо, протез выше левого колена и вместо пальцев левой руки – култышки. Бабка даже обиделась, когда Юра назвал имя и отчество.

– Евсеич-то? – недовольно пропела она. – Да как же я его не знаю-то?! Ой, малый, некошнóй. Да мы с ним тут по ночам бегали, играли… Он, Евсеич-то, первый балалаечник был… Фому-то не знаю? Сроду военных портóк не снимал. А тогда любили военных-то, ой, девки-то любили… Всё где-то служил он, а после войны – глядь, является без ноги, беспалый…

Юра шёл со старушкой пыльной улицей. Уже вечерело. Длинные тени легли на уезженную дорогу. Стройные великаны-тополя трепетали листьями.

– Тут деревня была… – рассказывала бабка. – А завод построили, понаехали чужаки, которых выпускали из загорожек. А Фома, слыхано, где-то в охране работал. Теперь пенсию получает. Отца-мать, сестру похоронил, бобылём живёт. И не женился. Не дай бог так-то… Я его на День Победы видала: пиджак и портки военные, ордена на груди, маненько выпимши был…

Бабка торопилась рассказать, что знала, и, когда надо было Юре свернуть в переулок, заключила:

– Об нём теперь нехорошо говорят, ой нехорошо. Убивцем называют. Бог его знает, а я не верю, чтобы он был нехороший. Женихались с ним…

– А что ж, прикажут и застрелишь, – пытаясь до конца понять старушку, сказал Юра.

– Эдак, эдак… Приказ. Тогда так было. Приказы выполнялись строго тогда. Говорю же, как взяли его служить, он военных порток не снимал. Ну, сынок, теперь и сам найдёшь. Во-о-н рябинушку видишь кудрявую? А то я всё смотрю на тебя и не угадаю, наш или не наш. А ты кто же ему, Евсеичу, ай по сестре сродственник?..

– Ага, по сестре… Спасибо…

Юра уже вспомнил место и рябину под окном. Перешёл дорогу и, стуча каблуками по дощатой панели из гнилых, провалившихся горбылей, споро подошёл к воротам. Окна дома косились. Ошалёванный «в ёлочку» дом врос в землю до подоконников. Кто-то стучал за сараем.

– Фома Евсеич! – крикнул Юра, отвалив калитку и вступая на пустынный двор.

– Аюшки, кто там? – И, опираясь на клюку, далеко выкидывая левую протезную ногу, Евсеич вышел из-за сарая. – О, Юра! Ну, здравствуй, дорогой. – И, не выпуская из рук клюку, обнял Юру. – Письмо-то с открыткой получил, знать?

– Получил. Уж больно грустное письмо-то… Суровое.

– Да как не загрустить. Иди-ко, иди-ко, садись вот тут. Вот так. Там у вас Подмосковье – это остров. А вся Россия – она остро́жная, она вокруг вас. Хуже стало, чем было. Яма. Поневоле загрустишь. Как тут у нас говорят, поеду за три речки: «за Тужу, за Пержу и за Вою…» – Евсеич засмеялся, гусиные лапы морщин вокруг его глаз двинулись вниз. – Давай-ка раздевайся, я что-нибудь совасто́жу, состряпаю.

Зашли в дом. Фома, всё ещё улыбаясь, качал головой. Хромая, затащил Юрину сумку в сенцы. И в сенцах, и в кухне, и в горнице была какая-то даже излишняя чистота, как у вдовы, лишь только занавески на окнах выдавали холостяка: они были тоже чисты, но плохо, по-мужски, отглажены.

– А я на завод сбегаю, по накладным отчитаюсь и командировку отмечу…

– Фельдъегерский? – кивнул Евсеич на портфель. – Знаю…

– Откуда?

– Ну, не первый раз замужем. Вали, беги, я ждать буду, – сказал хозяин, затворяя ворота.

– Ты особо-то не хлопочи, полковник! У меня всё есть…

– Эка, куда хватил. Забыл, что ли, старший лейтенант?.. Бывший.

– А по мне – полковник, – забирая под мышку кирзовый фельдъегерский портфель с красной металлической обечайкой, отозвался Юра уже издалека. – Звезды три. А размеры этих звёзд каждый по-своему видит и ценит.

– Три звезды. Скажи тогда ещё «генерал-полковник», насмешил ты меня, сынок.

Поправив в горнице покрывало на кровати, накинув коврик на отцов кованый сундук, Евсеич повесил фартук и принялся месить тесто для пельменей, то разминая правой рукой, то тыкая культышками пальцев левой руки. Раскатал-таки тесто в тонкий лист. Лицо горело, на лбу блестел пот, на подбородке белела мука, как пудра.

Солнце малиновым шаром закатывалось за деревьями, за домами. Вечерние тени спутались. Редкие прохожие шли мимо окон, а те, что постарше, здоровались с Евсеичем.

Отдавливая тонким стаканчиком кружки теста, он начинял их фаршем, складывал рядом, поглядывал в растворенное настежь окно. И когда, крепко топая каблуками, показался Юра, Евсеич сел на скамейку, закурил. «Вот бы мне сына такого…» – говорил его взгляд.

– Отметился?

– День приезда, день отъезда – один день…

– Знаю я эти порядки, – затягиваясь вонючим дымом дешёвой сигареты, говорил Евсеич. Лоб его блестел в свете вечернего солнца.

– Напрасно ты всё это затеял, полковник. У меня есть чем поужинать.

– Э-э, товарищ лейтенант, не знаешь ты наших свычаев-обычаев. Тут, брат, не всё так просто. У нас говорят: соль-вода есть, можно пельмени стряпать. И не просто пельмени, а с уважением: «пельм**я**ни», вот как… Да и гостей всегда встречали именно с пельм**я**нями. Дорогое блюдо для дорогого гостя. А я тебя ждал. Знал, что приедешь, не мог не приехать. Ты же мне писал… Пельм**я**ни, брат, первое дело для гостей…

Сизый дым сигарет пластами стоял в комнате, нисходил в окно. Вода в кастрюльке закипела. Евсеич тяжко встал, отставив протез, высыпал пельмени. И аромат варева наполнил кухню. Спрашивая между делом про город, про цены на спиртное, мясо и колбасу, Евсеич приказал Юре:

– Режь хлеб, ставь рюмочки на стол, ужинать будем!

То замирая с ложкой в руке, то умаляя пламя газовой коптилки, то звучно пробуя бульон на вкус, сказал:

– Готово, сорви-ка лучок в палисаднике, пёрышки.

– Есть! Будет сделано, полковник, – шутливо отбарабанил Юра, чувствуя праздник, именины сердца.

Они уселись за стол в вечерних сумерках. На улице было ещё светло, а в доме уже темнело.

– С этим переводом часов на летнее время вся жизнь на дыбы, – сказал хозяин.

На столе, покрытом старой льняной скатертью, была небогатая снедь, дымились пельмени. Желтел яблочный уксус, салаты.

Евсеич постучал ножом по бутылке дорогого импортного коньяку, сказал:

– Пересолил, лейтенант. Думаешь, что у старика так-таки и нет ничего? Шалишь, брат, открой-ка шкаф, там кое-что ждёт тебя… Нынче и у меня праздник, возможно, последний.

Брови Евсеича нависли над серыми глазами. Изрытое оспой, задетое осколками мины лицо – с бороздами печали.

– Ну, что так сурово, полковник? Это не к лицу нам.

– Чистые дали не замутит ничто, даже смерть, верно?.. Как, сынок?

– Чистые?

– Чистые! Я тебе сказал – сам своё, не в книжке прочитал. – И старик поднял голову. Брови его вдруг скатились на весёлое место. Наполняя рюмки, он сказал глухим, твёрдым голосом:

– За чистые души, за чекистов!

Посыпая чёрным перцем и макая пельмени в раствор уксуса, Юра хорошо закусывал, а Евсеич подгонял: «Ешь, кушай, на меня не гляди… Я старый, много мне не надо…»

За окном становилось совсем темно. Юра включил свет, заблестели семейные пожелтевшие фотографии на стенах, выскочила кукушка из очка часов и прокуковала одиннадцать.

– Да, полковник, если верить газетам и товарищу Солженицыну, Исайя-вичу, не Исаевичу же… так? – много вы тогда дров наломали…

– Много, – сказал с грустью в голосе Фома. – Уж раз Исайя-вич напирает на Россию, на Русь-матушку. Много, а вы больше наломали. Да сколько ещё и наломаете. Вся эта межнациональная резня, оплёвывание страны и Вождя и растаскивание по национальным квартирам армии к добру не привели. Ругают Вождя – для того, чтобы нас с тобой опозорить да обмишулить, мол, коли у них вождь такой «вурдалак», кровопийца будто бы, то каковы же они сами, эти русские? Тут, брат мой, Юра, в корень смотри. Тост послевоенный за русских – ведь Вождь же и поднял? Значит, и тем более и русские, и СССР никуда не годились и не годятся. Это ведь даже и не чехи, поляки, болгары да латыши – памятники нашим героям сносят. Это мы уступили, поддались пропаганде «обличителей». Доверились подлогам, вот в чём беда. И два десятка партий нынешних – тоже не дело, а мудня. Была-де одна партия, да то не та. И толку не было и теперь нет. А десяток партий соберутся – и будто бы согласие найдут? Ложь всё это и подмена демократии видимостью её… Была «диктатура» – ругали Хозяина. Диктатура и впрямь? Тогда как среди диктатуры пришёл троцкист? Верили в светлое будущее, в светлые дали. Что такое «коммунизм», «коммунизьм», по-хрущёвски, никто тогда не понимал, да и теперь не понимает. Что на что поменяли? Сейчас безвластие, охлократия, лучше? И что, выкусили? Не знаю, что лучше: иметь надежду, веру и смысл, или не иметь. Скорее всего – и то и другое – крайности, но надежда живительна. Была диктатура? Пожалуй, но всё-таки диктатура народа. Теперь стали нас путать, смешали намеренно свободу с… распущенностью. Снова перегнули палку.

– …Да, это так и есть, точно. Распущенность заменила закон. Кому-то выгодно это было… Сегодня ехали «свободные», ваши заозёрские.

И Юра рассказал про пьяных мужиков.

– …Ну, вот видишь… А ведь и тогда тоже пили, и пили не меньше, а языки не распускали. Боялись? И боялись, конечно, тоже. Страх и слабость – причина жестокости… Так преподносят нам, и, на первый взгляд, – кажется, верно. Трусость, разумеется, не сила, а слабость, следовательно, и жестокость. Сила солому ломит, только сила и остаётся, когда нет любви. Ветхозаветная истина. Неоспоримая. А страна и сильна была, – не только фашизм подмяли, а и двенадцать наций и национальностей вместе с ним. И любовь была: вспомни, какие фильмы, книги, какой театр был… И всё мы позволили оболгать, осмеять, переписать историю свою позволили, и кому? Кому?! Ничтожествам «в общем глобальном масштабе»! И ничто нас не научило – ничто ровным счётом! Мы так ослабли, такая сейчас противоречивая политика, что Америка так или иначе, похоже, что с плетью придёт и к нам. Не станет государственности – и не станет ничего, всё, амба! Америка – страна с давно накатанной

политикой, хитрой и изворотливой. В войнах она всегда отделывалась шинельками да консервами, воевала, если вообще воевала, исключительно на чужой территории. А когда дело доходило до серьёзного – уходила в кусты. Америка по-крупному никогда не станет сражаться, нигер не вояка. Она даст оружие новейшее, даст ботинки, даст шамовку, военные берцы – странам с глупой политикой, по-русски сказать, – дураков найдёт. И всё в долг с процентами… Они действуют проще: желаешь прибыль? Не покупай завод, купи директора завода… У них теперь за кордоном семьи, дети. На кого они будут работать, эти директора, бывшие «красные»?

Евсеич не сказал, у кого «у них». Но было и так понятно.

– Но ведь и Америка воевала…

– Да. Во Вьетнаме воевала. В Кампучии тоже… Воевала, да… Только ковровыми бомбардировками да чужими руками и на чужой земле. И что это были за войны? Избиение младенцев, раздутое прессой до катаклизма. Там, брат, хорошо подумают, прежде чем своих в ад войны послать, решиться на что-то серьёзное, воевать своими солдатами. Физический урон для них неприемлем не только потому, что они не вояки. Это русский сначала пукнет, а потом оглянется, а там – шалишь…

Юра по-мальчишески засмеялся и пролил коньяк. Опять налили. Меж тем Евсеич горестно вздыхал.

– И заметь, запахнет жареным, все кинутся стелиться под англосаксов. И немцы, которых в сорок пятом от ядерной бомбы спасло только то, что они успели подписать акт о капитуляции. И японцы, горевшие в Хиросиме и Нагасаки заживо. Все под американцев лягут. Даже сербы – и те, и «братушки» наши болгары… Все перебегут-переметнутся, знаем, проходили и это… Кто больше всех воевал? Немцы да русские. И вот ведь как-то немцы вытащили экономику, а мы достукались до ручки. Почему? Да всё потому же: пукнем, а потом оглянемся. Оглянулись – стыдно стало… Обмарались в очередной раз. А как мне обидно, представь. Всю жизнь служил своей стране и верой и правдой. Даже семьи не нажил. Эх, брат, и навоевался я! Грехов на мне – не счесть! Сколько душ загубил, столько «в расход» отправил по приказу, что теперь и не то что в рай, в ад теперь не попаду? И во ад не достоин, так, что ли, получается? А почему, оттого ли, что головушку мою заморочили, или от чего другого? А? Вот и живу, потому что никак земля не принимает…

– Врагов же… «в расход», – пригубив рюмку, попробовал возразить Юра.

– «Врагов»… Людей! И теперь вот, оглядываясь, смотришь на всё по-другому. Я знаю эти души, охранял их, водил на работы. Лучше бы многие из них вовсе не родились, а в чреве сгноились… Такие и не должны были жить. Не мне их судить? Так я и не судил. Был приказ привести приговор в исполнение. И всё-таки это были люди… Это ты охранял мелкую сошку, синюшников, воров, ну, может быть, кого-нибудь из «тени». Мелкота. – И тут Фома Евсеич махнул култышкой. – А я вот имел дело с публикой покрупнее… Меня ночами мучают эти души. Незабываемые лица. Да вот: Сталин и Берия, что их объединяло? Ведь Лаврентия-то «вождь народов» вытащил с низов. Каким делом, чем они были так связаны?.. И почему, когда Сталин умер, Берия радостным голосом крикнул будто бы своему шофёру: «Хрусталёв, машину!» Нет, тут были дела, возможно, ещё при Ленине. А возможно, и до него. Загадочные кавказцы. Прямо скажу – загадочные. И расстреляли Лаврентия подозрительно быстро. Одни говорят, из пулемёта прямо в окна, потом в ковёр завернули тело и вынесли. В центре Москвы, на Никитской. По приказу Никиты, торопился очень расстрелять. В окна из пулемёта расстреляли, а судили подставного, который лица не показывал, шарфом прикрывался… А Сталин с Берией работал и с проектом по атомной бомбе. А Никита испугался… Чего он испугался? Значит, было чего пугаться. Другие пишут, что Маленков всё подстроил, вроде бы пост министра железных дорог прочили Берии, а не расстрел, да всё пошло не так, как следовало. Ящиками сжигал компромат Хрущёв, торопился, а расстрелял будто бы сам Конев на Малой Никитской в особняке…

– Жуков, он сам признавался, был нужен как авторитет именно Жуков. Он сам писал об этом, как два часа ждал сигнала от Хрущёва в подвале, а вверху в кабинете Маленкова проходило заседание ЦК КПСС…

– Не верь, ложь. Берию кончил другой кто-то, на московской квартире. Когда Жуков будто бы брал Берию, того уже не было на свете. Двойника брали. Спектакль. Хоть Жуков и сам мог о том не знать. Я вот эти дела расстрельные, крутые, знаю из первых рук. Так быстро идейных и тогда не стреляли… А судили двойника, повторяю… Пол-лица всегда было закрыто на суде шарфом, чтобы

ни по подбородку, ни по голосу не разобрать было, кто это. Берия спас мир от атомной войны. Но ты посмотри уровень и требования дисциплины – взять, вот хоть ты и Берия – а в расстрельную комнату извольте под белы руки… А теперь? Вор. Четыре убийства на нём, миллионы выкрал у государства, но он свой и поэтому на воле.

– Далековато хватил, полковник, – сказал Юра, как бы норовя убавить сердечный огонь Евсеича, принимая дальний прицел за простой трёп.

Про конвойную службу, про службу надзирателем Евсеич не любил рассказывать. Но что-то сегодня зацепило за живое.

– Дело прошлое… были дела. А с чего всё началось…

– С чего?

– Да с малого. По комсомольскому набору пошёл служить. Вот как ты после армии в свою фельдсвязь. В то время модно было, шли в авиацию, во флот. А меня в энкавэдэ занесло. Это мне, конечно, так казалось, «просто» занесло. А время было страшное. После убийства Кирова – очередная чистка рядов партии. Троцкисты, подпольные организации – это не выдумка, и слухи: «до родного вождя» добираются – были не лишены оснований. Слушай, Юра, мне очиститься хочется, душа горит! А-а, всё равно скоро туда, под бугор. «Геместир» или «Готтосакер». А как у нас говаривают: «домой, под сосенками на погосте»… Знаешь, теперь предстоящая смерть мучить стала. Раньше думал: «дело правое», а теперь, веришь ли, земля уходит из-под ног…

Евсеич шоркнул рукавом рубахи по глазам, отвёл взгляд в сторону растворенного окна. И только тут Юра заметил, что у него странные, трагические уши – как свинухи осенние – большие, прилизанные назад, к затылку, и раковины ушей диковинного излома, как у борца. И лицо трагическое, невозможно смотреть: лоб и виски чуть ниже испаханы шрамами, в глубоких морщинах – чёрные жирные линии, как у старых шахтёров; под глазами набрякли тяжёлые мешки. Узкие плечи овалом, и рубаха казалась не по плечам, и только крепкая челюсть говорила о несокрушимом характере…

Высокий, сдвинутый назад косой лоб – тоже в морщинах, и всё лицо косое, овалом – в яйцо… Нет, это лицо не злодея – это лицо исстрадавшейся, смертельно усталой души…

– По нынешним временам, – говорил Евсеич, и в горле его стоял ком, – по нонешнему, если верить печати, меня надо расстрелять как собаку бешеную, «шлёпнуть», как мы тогда говорили… В конвое, в тюрьмах надзирателем, исполнителем высшей меры. Стычки с бандеровцами. «Лесные братья» мину на тропе устроили, и тут только я успокоился, в госпитале, – думалось: на веки вечные. О, Господи, сколько довелось перестрадать… И как ещё тогда, в команде особого назначения, не пустил себе пулю в рот? А сколько их было на моей памяти, этих «особистов»! Стрелялись, вешались, сходили с ума… Лет десять по уходе из органов ни одного не встречал, кроме врача, где они?.. Да и я сам давно дышу на домовину. И слава богу, дело к развязке, сколько можно страдать? И за что?.. Но, знаешь, за что обидно, знаешь, что? Эти… нынешние…

Часов около двенадцати, когда горели редкие огни в домах, укладывались спать, чекисты и не думали тушить свет. Изрытая огнями тьма за окном не спасала от дум, воспоминаний, сколько ни смоли в неё табачным дымом. Висело густое облако, горькое и грозное, хоть топор вешай.

– Ты… Ты был всё-таки палачом?.. – спросил Юра, вдруг ужаснувшись той бездне трагизма в душе Евсеича.

– Ну да, исполнителем. Чего ты так испугался-то. Не бойся, не застрелю. Так вот: когда уходил, в госпитале проверили меня, посоветовали в Дом инвалидов войны лечь. А врач, мой дружок, так и сказал: «Мой тебе совет: дома помирать». Чудак, ей-богу… Я, говорит, дома буду помирать и тебе советую… дома…

– Да какая разница, где помирать, – сорвался Юра.

– Умер Максим, да и… хрен с ним.

– Да что ты всё про смерть свою, полковник, помереть не мудрено, как сказал поэт: «Сделать жизнь значительно трудней…»

– Сказал и сам застрелился… Некого мне просить, а тебя попрошу, Юра. Похоронишь, как помру? Гробовые есть у меня… Евсеич прятал взгляд.

– Похороню… Вот, помирать он собрался.

– Я уж и место себе присмотрел… И сирень там посадил прошлой осенью, пусть будет в головах… Я ведь ещё до войны начал помирать, когда самого первого «перманентного революционера»,

ещё из «ленинской гвардии» уложил. И до последнего времени работал в аппарате областной прокуратуры, был старшим помощником прокурора области. Первым старичок был у меня, седенький, невзрачный. И умер он как-то тихо: после выстрела ткнулся так, даже не вскрикнул. А я ночей не спал: правда, что враг? – думалось. А кому скажешь? С кем посоветуешься? Бумаги оформлены, с делом дали ознакомиться, и приговор – высшая мера. Бланки с грифом «совершенно секретно» и постановление особого отдела при НКВД…

– И много ты их…

– Помню всех. И хоть специальных инструкций на этот счёт нет, приходилось надзирать за исполнением приговора. Ты знаешь, что такое человек, осуждённый на «вышку»? Если человек приговаривается к расстрелу областным судом, а затем Верховный суд оставил приговор без изменения, в прокуратуру шли так называемые «красные лапки» – телеграммы такие правительственные. После этого я должен был побеседовать с осуждённым и всегда предлагал ему написать прошение о помиловании. Составлял специальный акт, если человек отказывался…

– А что, бывало и отказывались?

– Да, было. Один кричал мне в лицо, рецидивист, брызгая слюной: «Писать к помилованию? Нет, не буду! В тридцать седьмом убили отца, “врага народа”, на фронте погибли братья, так убейте и меня, убейте последнего Сидорина, чтоб уж весь род под корень! Чтоб и следа нашего не осталось на этой поганой земле!» Три покушения на убийства и изнасилование малолетнего. А смерть ему заменили пятнадцатью годами, бывает и так…

– Да, кому быть повешенным, тот не утонет… Так ты, что же, был и священник, и палач одновременно?

– Выходит, что так. Исповедовал перед вратами ада… или рая? Не знаю. А теперь вот тебе исповедуюсь сам.

– Прямо в камере исповедовал?

– Нет, для этого был специальный кабинет. Прямо в наручниках. Исповедовал в наручниках. Кстати, это не мешало говорить по душам. У человека в предчувствии смерти совсем иное отношение ко всему, чем в миру.

– А камеры смертников, они что, страшны?

– Нет, обычные камеры в дальнем, отдельном крыле тюрьмы. Отдельный коридор с усиленным надзором. В камере по одному, иногда по два человека.

– Говорят, что стреляют по шесть-семь человек солдат, и никто не знает, у кого боевой?

– Ну, это только в фильмах. Исполнитель, нажимая на крючок, знает, что у него боевой…

– Так расстреливает один?

– Не всегда. Как-то раз с приисков бежал человек, рыжий, высокий, такой силы звериной, чутьё какое-то, тоже звериное… Всемером вытаскивали из камеры. Разорвал наручники. Надели двойные…

– А как же он дал себя убить?

– Дал. Буйны они только в камере, да и то не все. А извлечёшь из камеры – и он как рачок. Послушен и тих становится. Ведь камера – его последняя крепость, оплот, где теплится его жизнь. А затем он приведён на место исполнения; ему объявляется, что прошение о помиловании отклонено, и опять шок, покорность. Ставят на колени лицом к стене и стреляют в затылок.

– Что же, стреляют в камере или во дворе?

– Да, в камере без окон, и она длиннее обычной. И стены обшиты досками. Был случай: один с колен увернулся, я промахнулся, и пуля обожгла мне шею. Пол в этой камере ещё при царе был выложен булыжником. Последней была женщина.

– Молодая?

– Для меня – нет. На ней моя карьера и кончилась исполнительская. Когда вёл на место, в коридоре незаметно кобуру расстегнул. Она, верно, поняла, куда ведут, да и понимать-то нечего: чугунные щиты, загородка с отверстиями, пол стальной… Как она обернулась, выкатила сумасшедшие глаза, закричала дурным голосом: «Убийцы, будьте вы прокляты!» Помню, как где-то топали, бежали по лестнице, я выпустил в неё всю обойму, в голову, а она жива, и даже кровь не идёт. Чудовищная живучесть, а может быть, она была невиновна… Сам испугался, месяц отлёживался в больнице, руки дрожали от сомнения – что это? Врачи не знали, в чём дело, думали, от водки…

– А ты не пил?

– Что ты, таких сразу освобождали от службы с дальнейшим надзором. Кстати, садистов – тоже… Всё должно было быть в рамках разумного, если только можно считать разумным этот сумасшедший мир… Все же наблюдали друг за другом. Доносили. Нервы, алкоголь, промах… Что ты! Государственное же дело. Что тогда было для нас Государство?! «Жила бы страна родная, и нету других забот». Если бы хотя раз позволил себе напиться – быть бы мне алкоголиком. А спивались, и ещё как. Даже один раз побывавшие на месте – и те спивались. Даже женщина-врач – и та, то ли нервы, то ли… И ушла навечно. Тот, кто хоть один раз выпивал, – больше не работал. Срывались и так, без бутылки. Молодого дали одного. Он только глянул на меня, а я на него – и понял: ему у нас не работать. Комиссовали его со второго раза: шизофрения. Попал он в психбольницу, но даже и в бреду не проговорился ни разу о том, где работал. Вот как нашего брата шпиговали! Что значило: чекист! Да, привыкнуть к чужой вынужденной смерти – невозможно. У меня и у самого в этот день особый – сохли губы, пил воду бидонами. Потом, когда вёл, – губы трескались в углах рта до крови, знаешь, как у детей от ананаса. Сильно терял вес. Спасался тем, что принимал холодный душ и отвлекался чем угодно. Обязан был ежедневно стрелять или держать на время утяжелённый макет пистолета, чтоб рука не тряслась.

– Что же, снились трупы, хрипы расстрелянных?

– Нет, и хватит об этом… Я считал себя санитаром людского леса. Но раз приснилось, что попал к заключённым. И вот живу среди них, хожу, принимаю пищу. Они не знают, кто я такой, но вот-вот узнают…

– Сколько же всего было смертей?

– Не скажу. Скажу, что однажды, в один год – около ста… Но часто, часто вспоминаю того троцкиста, первого. Маленький, седоватый, вроде бы безобидный… На смерть шёл как-то легко, словно и не его должны стрелять, так его заморочили, что ли…

Объявился ему отказ в апелляции, он как-то ахнул, никак не мог понять, что надо встать на колени… Поставили его… Как-то всё невзрачно. А ведь произошло ужасное. Мир утратил человека. Мир стал беднее на целый мир, ведь как-то хорошо сказал поэт, что умирают не люди, а миры… Мне даже кажется иногда: смерть для человека – это ничтó, но каждая человеческая смерть для мира – трагедия. Просто нам этого не дано знать. Мы знаем только тó, что нам позволено. Да, теперь оглядываешься, и тогда приходит расплата… За многое. Помню, как меня очень удивило, что жизнь и смерть – вот так рядом, и… прекрасно уживаются… Вот только что шёл, кряхтел, шмыгал ногами и вдруг стал неизвестно где и никому неподвластен и недоступен… Нет его… И никогда не будет. И какой-то жёваный обрывок от мундштука папиросы прилип на подошву его ботинка… Помню, я ему ещё в камере сказал: «Завяжи шнурки…» – «Зачем?» – спросил он, подслеповато и близоруко глядя на меня через очки. «А действительно, зачем, – подумал я, – ведь его через несколько минут не станет?..» Он так и шёл впереди меня, спотыкаясь и наступая на шнурки… Конечно, это было нарушение…

– А жалко ли было кого-нибудь ещё?

– Да, так называемых дезертиров. Некоторые из них были награждены орденами. Они переоценили жизнь. На колени не вставали: «Русский солдат умирает стоя!» В штаны не наваливали.

– А было, что и наваливали?

– Конечно. В основном блатные или из тех, которые насиловали, расчленяли трупы. Это трусы, которые умирают, ещё сидя в камере или по пути. От разрыва сердца. Ведёшь стрелять уже покойника, зомби, мумию. Один, переживая, как от проказы, покрылся сплошь коростой, струпьями, красными пятнами. Глядеть страшно. Иные умирали ещё до выстрела. Поставишь на колени, а он хлоп на бок – и готов. Страшнее всего – осечки, но бывало и такое. Реакция – дикая до бешенства. Они же думали осечка – значит, всё, прощены, свободны. Это, знаешь, как при царях – узелок на верёвке виселицы или обрыв – и гуляй, свободен и прощён, и взятки гладки. Бог помиловал.

– Ты исповедовал? А часто исповедовались?

– Всегда, только четверо не сознались в убийствах. Один – истерзавший священника и всю его семью, другой – родную мать. Кстати, по Библии, это самые страшные грехи, и умерли они так и не покаявшись. Ты знаешь, Юра, ведь исполнители – это специально подобранные офицеры НКВД. Подбирали таких, чтобы им можно было довериться по всему, и по притягательности, по обаянию, что ли, тоже… Как в попы, да…

– И были льготы? – спросил Юра. Такой человек сидел перед ним, какой силы воли! Человек, которого всё-таки страшат последние дни… Почему, ведь жизнь прожита, так какая же разница, как встретить небытие?

– Нет, без обиды говорю, ни льгот, ни денег в избытке не имел. Но мы-то тогда думали, что кто-то должен это делать, не мы – так другие. Так вбивалось в голову иными идеологами, и впоследствии, когда я осуществлял надзор, исполнители получали лишний паёк, обмундирование, путёвку на курорт…

– А что, на самом деле стреляют на рассвете?

– Очень много подготовки, прежде чем нажать на курок. Всё в строжайшем секрете, знали только двое: я – по надзору и тот, на котором организационная работа. Особенно тщательно скрывают от тюрьмы. Тюрьма в зависимости от расстреливаемых авторитетов и может подняться. Ничего нельзя упустить. Всё делается после захода солнца. На рассвете – только в кино: вот, дескать, жизнь пробуждается, а тут убивают… Кстати, это не только традиция, ты же служил, знаешь, что вечером в тюрьме после последнего приёма пищи прекращается всякое движение. Не отправляют на этапы, всё тихо и спокойно. Да, тут прав Солженицын, но, пожалуй, только тут. В остальном – предвзят… В это время никто не услышит, даже и случайно, глухого выстрела из-за двери.

– Стреляли один раз?

– По-разному. Бывало и кричали: «Добейте, гады!» Здесь главным было не потерять самообладания.

Евсеич, казалось, совсем успокоился.

– Что ж ты не бросил эту… работу, что, чувствовал удовлетворение?

– Пожалуй, порой… Что вот, занимаюсь таким, что не каждому под силу. Для защиты Отечества, для Государства. К тому же убив хоть однажды там, а затем на фронте – уж грешен, уж одно всё к одному… Ведь стреляли не только «политических», как это пишут сейчас, а и подонков, негодяев, зверей в человеческом обличье. И чувство такое, чем скорее убьёшь гада, тем лучше. Для всех. И для него тоже, кстати. А они и вели себя соответствующе: бросались горло грызть. Так, однажды в тюрьме в Кутаиси армянин прятал в камере гвоздь. Алескеров, здоровенный, как шимпанзе, с заросшей шерстью грудью. Запорол двоих насмерть, кричал: «Не один уйду, и вас прихвачу». Зэк из Жилкино старику перерезал горло, так тот зэк и перед расстрелом кричал: «Мне пулемёт, так я бы вас всех…»

– А давно ты отказался от этого… от исполнения?

– Я же сказал: после той бабы идейной, пламенной… После отправленной к Богу женщины. Невероятно показалось: столько выстрелов и – жива! Чуть не свихнулся, как выдержал – не знаю… И впрямь помогло сознание, что делаю нужное дело. А всем тем, кого сопровождал в расстрельную камеру, поделом было: преступники…

«Что за человек, – думал Юрий, – он, этот Фома, видел сотни людей в пресловутой “тамбурной” зоне, между жизнью и смертью, между прошлым и будущим… Его и их отделяли друг от друга секунды, мгновения и – вечность. Этот человек видел столько страшного, что хватило бы и на тысячи жизней, и вот не озлобился от всей виденной им жестокости, сидит перед ним, обыкновенный…» Непонятно было Юре, как можно после этого остаться человеком…

– Они были враги, полковник?

– Да теперь совсем о другом думаю, и свербит в душе: они были люди. Всё перемалываю в себе… А тогда старался не думать. Было время, когда и сами себя боялись. Да и намерения-то были благие: всё делалось для-ради «светлого будущего». Коммунизму дырку сверлили к нам через стену. И «одной ногой уже стояли…» – так фраер Плешатый, кукурузник говорил. Благими намерениями вымощена дорога в ад…

И непонятно было Юре, почему жизнь так жестока к человеку, чекисту, исполнявшему свой служебный долг. Где была совершена ошибка? Чего ради? Им – тогда, или – теперь, в наши дни? Теперь вот только и пишут, что шмотками пользовались, посылками, в ресторанах с бабами гуляли… «Магами» звали… «Маг» – это надо же такое выдумать!

– Возможно, на Лубянке в Куропатах, когда расстрелы были массовыми. Кто-то чего-то и выгадывал. Да и то вряд ли. Никто чужого не брал. За нами смотрели. Да была и честь офицерская. Платили как младшему офицерскому составу. Все считали, что были свободными, в особом почёте… И этого хватало с избытком, даже гордились. И всё не так как-то… Если обманули нас, то кто и когда? Уж

точно не в ту пору героическую, вот что… Вот Таисья Кривокорытова, с которой ты ехал в автобусе, моя невеста была, всегда как-то с состраданием смотрела, хоть и не знала она ничего. Чувствовала, как всё непросто. Отпустили меня тогда на три дня. Баловали с ней возле клуба. Ко мне подошёл человек в штатском, я его не знал. Много не говорил, спросил только фамилию, имя и сказал культурно: «Вас на службе ждут». И во сколько явиться сказал. Вроде бы и свобода, а как овца на приколе. Как стёклышко я должен быть на службе. Это сейчас пишут: спирт в бочках, пьяные исполнители, недочитанный приговор… Язык без костей. В войну, возможно, и было, но не у нас…

– И что же, после дел с бабой списали? – спросил Юра.

– До самой войны счетоводом работал в артели, в войну перевели в СМЕРШ, «смерть шпионам и диверсантам!». Контрразведка. После войны – на Западной Украине. Там бандеровцы орудовали. Хуже войны. Бывало так: деревня. Висит на колу частокола или плетня горшок или шапка, сушится. Ну, висит и висит. А это сигнал: мол, тут чекисты. Дважды ранен был, выходили. Потом в Прибалтику уже старшим лейтенантом. Там на мину наскочил, «лесные братья» подложили. Вот результат. – Евсеич постучал култышкой по протезу. – И что заслужил? Вот всё, что ты видишь, – отцовское и от сестры-покойницы осталось. Моё вон обмундирование, ордена и медали. Ну, пенсия нищенская. Да это что! Мне и не надо ничего. А почёт какой? Еду на День Победы в автобусе, нас собирали в Доме культуры… Сижу, гляжу на праздничных людей. Подходит хорошо одетый, видно, что из интеллигенции, опрятный такой… Трогает орденские колодки и говорит, змеёныш: «Сними эти побрякушки, цацки, ляльки, сними, душегубец…» Я как хватил его, гада, за холку, думал, пьяный, нет, трезвый. Схватил и держу. Клюшкой хотел его отходить, встать не мог, теснота была. На него женщины закричали, выкинули на остановке. Вот тебе и почёт. И думалось мне тогда же, в автобусе: кто во все времена больше всего мутит воду, морочит голову работному люду?

– Кто? – спросил Юра слабым усталым голосом.

– Интеллигенция эта самая. Во все времена эта гнилая интеллигенция шарахается по сторонам, шаткая и трусливая. Всё время они натаскивают чужеродные идеи, забивают головы простому народу. Что, например, крестьянину или рабочему идеи были нужны? Простые люди всегда думали, как прокормить семью, обуть-одеть, а люд этот загоняли в тесноту красных уголков и кормили обещаниями, идеями… Морочили голову. Хватается за орденские колодочки! Он мне их вешал?! Что он, сука, сопляк, что он знает про эти награды? Интеллигент с «гаврилкой» на шее, с «собачьей радостью» или как её, масонскую эту штуку, называют, не знаю ещё… – Ладно, давно пора спать, – взглянув на часы, с сердцем сказал Евсеич. – Всего не расскажешь, ночи не хватит. Да и утро уже, кажется, дождичек пошёл…

…В окно проглядывалось мглистое серое утро. Угадывался белыми разводами клокастый сырой туман, похожий на мутную горную реку вдоль улицы. Серой фланелью стояло низкое небо, и неслышно потряхивал листочки в вишняке мелкий неспешный дождичек. Перед окнами тяжело висели гроздья рябины. Невесело и недружно чиликали голодные воробьи.

Вставал тяжёлый мокрый рассвет, робко, медленно, грустно; думалось, вовсе не будет уже светлого дня, яркого солнца.

Евсеич похлопал по подушкам, снял покрывало и постлал чистую простынку.

– Вали, ложись, тебе на работу, – сказал он Юрию, дремавшему за столом. – Я в сенцах себе постелю, там топчан у меня есть.

– Нет, полковник, я тут устроюсь, на диване. Я привычный.

Громко стуча протезом, без клюки, при каждом шаге взмахивая руками, Евсеич принёс одеяло, матрац и подушку. И когда укладывались, всё молчали. Евсеич вспоминал прошлое, перебирал накипевшее сегодня. Сравнивал.

– Ничего не изменилось… Ведь эту теперешнюю свободу разливанную, кто её придумал? Интеллигенция вшивая и выдумала. А свобода для них – рваться к кормушке, стучать глоткой, правдами или враньём – выдвинуться… Да примерно то же было и раньше. Я знавал и таких: родную мать, гад, застрелит, лишь бы выдвинуться, покомандовать… У меня есть один интеллигент, так он, представляешь, для «красно-коричневых», на будущее, казнь такую придумал, никогда не догадаешься. Всем казням – казнь. Залить медицинским клеем половой орган. Кормить солёной рыбой и воды не ограничивать. Представляешь, три языка знает, подлец! Три! А ты говоришь – свобода! Вот и возьми этих дураков, съешь их с кашей. А? Каково… Или хоть этих пьяных возьми, про которых ты,

Юра, говорил, они так и понимают слово «свобода»: пей, гуляй, на работу хочешь иди, а не желаешь – наплюй, не ходи. «Пусть работает железная пила, не для того меня мамаша родила…» Так же и тогда про коммунизм думали. Хочешь – иди работай, нет – лежи, спи. Кстати, и Ленин любил этих «умников»-интеллигентов. Эх, жизнь – жестянка ржавая! Прожил, как в преисподней побывал, эх, я и по-па-рил-ся… Сколько мук пережил…

И старый и молодой – оба улеглись. В доме было тихо. Уже рассвет восстал. А всё то же висело серое небо, шатром мрачным; крапал дождь и пятнил стекло, то смелел и усиливался, то отпускал шорох.

– Да-а-а, – закрывая глаза, зевая, вполголоса сказал Юра. – Ну, дела-делишки. Как говорил наш кум на «пятёрке»: «Кругом шашнадцать выходит».

– Как? – Евсеич изо всех сил приподнял голову. – Как ваш кум говорил?

– Кругом шашнадцать!

– Да, выходит так… Хм… – Фома Евсеич заулыбался. – Юра, а Таиска-то Кривокорытова много обабок набрала?

– Старуха-то? Целое ведро! Там у неё не одни обабки и были, да маслята ещё… Что-то ты вспомнил про неё, полковник?

– Да так. Молодыми ещё бегали. Первая красавица была, и юбка на ней такая узкая, серая, и накидка, как говорили тогда, «я те дам». Помню и туфли красные на кожаном ходу. Эх, и девка была! Загляденье! «Где мои шестнадцать лет!?»

– Всё проходит, полковник, и хорошее и плохое, всё, – заключил Юра с закрытыми глазами.

Евсеич улыбнулся его глубокомыслию:

– Да, да, всё проходит, даже любовь проходит. Остаётся только память. И та не навсегда.

Юра встал, надел в сенцах глубокие калоши, от которых сделалось больно в щиколотке, вышел и помочился с крыльца, чтоб не ходить по дождю. Сумка его валялась в сенцах, вспомнился полушубок. Юра вытащил из сумки полушубок и повесил на вешалку. Запахло керосином.

– Зачем ты его привёз? – сказал Евсеич. – Говорил же тебе – не вози.

– Он же ещё хороший, зачем вещами разбрасываться, чуть вот тут моль побила. И память твоя, сам же говорил.

– Возьми, возьми себе, у меня всё равно пропадёт. Портному отдай, он тебе верх сделает, покроет крепким материалом, оверлочит края.. Будешь ходить как Башмачкин. Только не по Питеру, а по Москве…

– Я так и сделаю, полковник, а в чём ты будешь ходить зимой?

– Зимой, похошь, он мне не пригодится. Зимой я буду в другом месте. В лучшем из миров, в раю!

– Брось ты, что ты заладил… Жестоко это. А хочешь, поедем ко мне, у меня поживёшь зиму. Мама разрешит, она добрая, моя мама. В городе в госпиталях подлечат малость.

– Спасибо на добром слове, но мне уже не надо. Некуда, ни к чему. Везде я успел. Даже слишком. Как сказал мой друг, бывший тюремный врач, «лепйла»: «Ты только с виду здоровый, а внутри – труха. Хоть сейчас на актировку». Давненько это было… Чёрт, «лепила», хоть бы соврал. Он и тогда так же точно «констатировал» смерть. Когда умру, – продолжал Евсеич каким-то совсем другим, грудным голосом, – когда умру, должно быть по осени, побудь на могилке. Посадил я сиреньку молодую, поправь её в возглавии, в головах… И сам приходи разок-другой, а лучше почаще, слышишь, за милую душу… Больше некому.

Юра не слышал, он уже спал.

– …И Таиску Кривокорытову, если увидишь, скажи ей, что я любил её. Женился бы, да тут жизнь так сложилась… Эх-ма, ладно. Нет, лучше не говори… Побеседовали ладком, как мёду наелись… Горького мёду, брат ты мой… От сердца отлегло, как в церкви побывал, ровно на молебне исповедался…

Юра спал напряжённо и зло. Снился ему огромный тулуп Евсеича, который вместо карты России висел исподом вверх в кабинете начальника фельдсвязи. Источенный молью, он будто бы оседал, сползал вниз с крепежей, этот тулуп-карта, и угрожал страшным падением. И непонятен был этот страх, откуда он? И из-за него ли, точно ли из-за этого тулупа? И как бы из другой комнаты, ширмой которой он и являлся с широкими полами, один за другим выходили те, по чьим судьбам были решения и исполнения.

Выходили они друг за другом, пригибаясь под тяжестью отодвинутой полы, – и они не расстрелянные были все, а живые…

И во сне он, Юра, всё беспокоился и всё никак не мог понять, не мог объяснить сам себе, за что же люди так страдали, если всё, даже лучшее в «перестройку-революцию» низвергнуто в прах. Поругано, отнято, поделено теперь по карманам этого тулупа и припрятано в его бездонных подкладках. Присвоено и переименовано. Ради чего люди жертвовали собой? «Не жалея здоровья и самой жизни», – ради того, как сказано в присяге? И только?

Он пытался объяснить им всем, что они не виновны, что не виновен и старик Евсеич, которому приказывали именем революционного закона исполнять… Но кто виновен и с кого именно спросить за всё, он не знал и сам. И получалось так, что если и был героизм, если и была жертвенность – то теперь кто-то смог «обнулить» её и даже насмеяться над всем тем, что́ ставили люди во главу угла и целью самого своего существования… Не «жертвы», а исполнители, те, которым ставили задачу общего блага и счастья выше самой жизни на этой земле, – они на деле и оказались жертвами. И всё обесценилось, но отчего?.. И это было непонятно, беспокоило, мучило и томило во сне – как в больном бреду. И вдруг последним из-под тулупа, отодвигая точёную молью полу, вышел сам Евсеич. Он пригнулся и сложил руки на груди, как к потиру – причастник. Не старый, а молодой. Засмеялся страшно и белозубо, выхватил «ТТ» и нацелился в него в самого, в Юру, и, вздрогнув, он проснулся.

…Умер Фома Евсеич, и впрямь не дожив до зимы, тихим октябрьским утром. Вставало яркое солнце, темнело мокрое от инея по утрам крыльцо его заколоченного дома. Темнели под окнами гроздья рябины, налитые соком. С каждым днём всё слышнее гомонили вороны за гумнами и летели мимо усадеб, крутя крыльями.

А весной молодая сирень зазеленела в его возглавии, зацветала ранним душистым цветом. Молодой, ладный по-солдатски паренёк в голубой рубахе приезжал из далёкого областного города, положил букет полевых цветов на аляповатую серую плиту под красной звездой. Сидел, думал, зябко пожимал плечами, плакал, что ли, – не поймёшь. Проходила мимо старушка, гнутая, неприветливая, в чёрном рваном фартуке, похожем на подрясник, в рваных же голенастых кирзовых сапогах.

– Не надо плакать, – сказала она сердечно, – не надо… Это счастье – умереть в своём доме, там, где родился…

– Опасался он, что земля не примет…

– А приняла земля-то, ишь, как ладно лежит. Один, на отлёте. Как барин или – король. Никто не мешает, – привольно так-то ему. Свободней. Вот она и свобода. Здесь свобода. Люди ищут её, мучатся. А она здесь. Сама их ждёт. И ищет. «Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и Аз успокою вы…» – Мудрено? – спросила она с чувством, пристально и не мигая глядя на могильную плиту, молвила ещё: – И-и, милый, земля всех примет. Она, матушка, для всех ласкова.

И, перекрестившись, пошла шепча: «Господи, не суди нас по грехам нашим, а суди по милости Твоей…»

Шла, опиралась на клюку, крестилась.

И всё так же на отшибе, на отвале, над горой села стояла заозёрская церквушка с колоколенками… Со взлетающими дружно и при каждом испуге голубями.

Стояла церковь, как и могила Фомы Евсеича, без креста.